

Едва ли не самый интеллигентный актер поколения, автор классных пародий и разошедшегося на поговорки «Федота-стрельца», он долго и тяжело болел, нигде не появлялся, редко и резко выступал в прессе. За последние четыре года с ним произошло столько всего, что хватило бы на отдельную жизнь, и жизнь трудную. Конфликт с Любимовым, гневная переписка с Золотухиным (ходила по Москве в списках), уход в «Содружество актеров Таганки» вместе с прокоммунистически настроенным Губенко, неоконченная авторская картина «Свобода или смерть», телевизионный цикл «Чтобы помнили», госпремия и звание народного артиста России — все это скупое освещается в прессе и почти не комментируется самим Филатовым. Не сказать, чтобы он ушел со сцены: есть ощущение его постоянного, нервного присутствия. Но встретиться с ним стало куда труднее: больницы, нежелание показываться на люди, резкая и внезапная перемена всего облика.

фото Якова Титова



ЖИВОМ

Между тем Филатов сделал очень тяжкий выбор и заплатил за него. Была некая эстетская гордость в том, чтобы — вопреки всей любви к Эфросу — уйти от Эфроса после его насильственного водворения на безлюбимовскую Таганку. Филатов взял на себя бремя вечной вины перед большим мастером. Был вызов в уходе от триумфально вернувшегося Любимова к априори проигрывающему Губенко (смешно было надеяться, что «Содружество» обскочит главную таганскую сцену — никто и не надеялся, совершался поступок заведомо самоубийственный, но честный). Была верность себе даже в том, чтобы вопреки всем мнениям и реноме дать интервью «Правде» и в нем твердо и жестко заявить: да, мне противно это время, это состояние страны и эта власть. Так сказал не кондовый почвенник, не красно-серый доктор философии, а либерал и умница, актер полудиссидентского театра, поэт и драматург, эрудит, звезда. Филатов сделал то, чего так и не смогла сделать наша интеллигенция: попытался отнять у подонков звание оппозиции, чтобы стать оппозицией подлинной и цивилизованной. За этот шаг он платит до сих пор. Инсульт с ним случился в тот самый день, когда по Белому дому стреляли танки. Слава Богу, он живой. То есть прежний. То есть новый, потому что он не останавливается. Мысль его трезва и остра, здоровая злость отнюдь не заменилась болезненной добротой, он абсолютно честен, и вообще он Филатов. Врагов просят не злорадствовать, а слезоточиво сочувствующих — не беспокоиться. Он поздоровее иных здоровых. Рядом с ним его друзья и одна из красивейших женщин московского театра — Нина Шацкая. И он много курит (вот некурящий Филатов — это было бы действительно страшно).

— Лена, я не могу вас не спросить о Губенко. Он карьеру у коммунистов делал — или мы присутствуем при настоящей его трагедии?

— Коля Губенко — мой друг и хороший человек. И ситуация его, конечно, трагическая. А карьера — какая карьера, о чем ты говоришь... Я абсолютно уверен, что коммунисты не дали бы ему никакого поста в правительстве. Он и в тенево кабинета не был. Слава Говорушину, я слышал, предлагали, а Коле ничего не светит ни при какой власти. И самое обидное, что, когда он одумается, остановится, ему и эта власть ничего не даст. Ни на театр, ни на картину.

— Любимов справляется с вашим здоровьем?

— Ты переоцениваешь Юрия Петровича. Не та глубина. Объем, при всем блеске, там не хватает... Он нам ни разу не позвонил после своего отъезда — никому. И ничего не посоветовал. А звонить мне...

— Но он хотя бы удерживал вас от ухода в «Содружество»?

— Достаточно долго и убедительно. Никаких личных обид на Любимова у меня нет. Он не обделял меня ролями — я сам отказался от Раскольников из-за большого горла, часто уезжал на съемки, сразу по возвращении он занял меня в «Маленьких трагедиях»... Если бы взбунтовался один Губенко, история получила бы другое освещение. Губенко можно было обозвать коммунишкой, коммунистическим министром — я, кстати, думаю, что Коле не следовало идти в министры культуры, но раз уж он на это согласился, я тогда ему посоветовал ни в коем случае не уходить со сцены. И под этого играющего министра Любимов, кстати, получил феноменальные гастроли по всему миру. Конфликт Губенко и Любимова был не социальный, а личный: Любимов не пустил его на спектакль, это серьезное оскорбление. И одновременно за спиной актеров начал решать, с кем он заключает контракт, а с кем нет. Вот тогда люди стали примыкать к Губенко, ставили на него: «Коля, спасай!» Он чувствовал свою ответственность и пошел до конца. Мне показалось, что в этой ситуации

надо быть с ним, — невзирая на то, что в глазах большинства мы оказываемся врагами мэтра и чуть ли не предателями. История рассудила так, что победа осталась за Любимовым. Но я бы сегодня поступил так же. Даже несмотря на мой уход от Эфроса и последующее возвращение «под Любимова».

— Я-то думал, что Любимов будет преисполнен благодарности к актерам, так его ожидая...

— В первый его приезд мы устроили колоссальный прием. Принципиально достали все, чего в Москве тогда было не достать, — из кожи вон лезли. Икра... Входит Любимов, крайне скептически оглядывает все это натужное великолепие... Мы просим его что-нибудь нам написать по случаю возвращения. Он пишет на карточке: «Хорошо живете!» Такой был подход.

— Я вспоминаю ваш с Золотухиным обмен открытыми письмами, очень жесткими. Золотухин тогда говорил, что в силу крестьянской своей природы он должен остаться с учителем, с хозяином, если угодно...

— Коле он сказал откровеннее: «Я как говно, я по течению плыву». Как тот скорпион в анекдоте, помнишь — крокодил его через реку перевозит, а тот его кусает и говорит: «Да, вот такое я оно»... С Золотухиным все сложнее, тут есть личный мотив, его жена с сыном в середине семидесятых ушла ко мне, — но я достаточно долго молчал о Золотухине и, думаю, имею право кое-что ему сказать. Ты читал его дневники?

— Нет.

— Вот тут тебе все стало бы ясно. Знаешь, из-за чего Высоцкий однажды записал? Он, оказывается, прозу Золотухина прочел и сказал: «Знаешь, так я никогда не смогу». И записал. Вообще постоянное это «Я и Володя», с ударением, конечно, на «Я»... Это, по-моему, дневники Смердякова. Я Золотухину

так и сказал, но он, по-моему, не понял... Он ведь очень простодушный человек. До безобразия.

— Вы сняли «Сукиных детей», потом взялись за цикл «Чтобы помнили» — актерская профессия выходит у вас очень уж мрачной. Что в ней такого кошмарного-то? Говорят, весело...

— В «Сукиных детях» я ее не героизирую, эту профессию. Я показываю, как надо было бы поступить тогда... такая романтическая плюха. Но и в сказке этой ясно, что все героическое и романтическое в этих сукиных детях — как раз от человеческой их природы. А весь цинизм — от профессии. Да, это профессия циничная. Но и очень печальная, я на этом настаиваю, — посмотри на актерские биографии. Я начал делать «Чтобы помнили» не потому, что мне нравится разрывать могилы; знаешь, исповедовать вдов и выслушивать истории чужой гибели — тоже отнюдь не способствует здоровью. Я просто чувствовал, что отходит, отсекается огромный пласт жизни. А мы этим дышали, и я не хотел тот воздух отпустить. Сегодня даже имя Шукшина, не говоря уже о Трифонове, мало кому и мало что говорит... Сегодня телевидение, пожалуй, даже и перегибает палку с показом «нашего старого кино», с довольно фальшивой ностальгией, а тогда казалось, что все это погребают... И судьбы людей, которые знали недолгую, но очень громкую славу — долгой в нашем кино не

— Евстигнеев вдохновенно отработал сцену. На следующий день у него съемок нет, а он приходит:

— Ленечка (гладит лысину, это у него жест такой был, когда зажимался), я так посижу... посмотрю... Я ничего не понимаю, но спешно придумаю ему какую-то реплику в этом эпизоде: нельзя же, чтобы Евстигнеев сидел на съемках просто так! Он отсырел и не уходит. Тут я постепенно смекаю, что ему надо поправиться, и показываю на дверь, за которой во вдохновенное состояние как раз приходит Володя Ильин, замечательный актер и человек по-сибирски крепкий, то есть пьющий помалу, но постоянно.

— Евгений Александрович, вас там ждут!

Он заглянул, обнял меня и говорит:

— Ну вот, теперь я вижу, что ты человек!

— О ком еще вы снимаете «Чтобы помнили»?

— О, кандидатур очень много. У нас работа не переводится.

— Вам приходится отсматривать километры фильмов тридцатых-пятидесятых годов. Вы их смотрите с увлечением? Без ощущения какой-то глобальной фальши?

— Почему... Я вижу фальшь, а вместе с тем чувствую умиление. Вот посмотрел «Солдата Ивана Бровкина» и «Бровкина на целине» — так даже трогательно. Это любила вся страна, к чему издеваться...

— С каких пор мнение страны стало для вас значить так много? Вообще ваше представление о народе как-то изменилось за последние годы?

— Да, к лучшему. Все-таки проголосовали видишь как...

— А что стало с вашим раздражением?

— Я сейчас не так зол на это время, как два года назад. Просто потому, что все время брюзжать непродуктивно: тебя перестанут слушать. Надо жить. Это вовсе не означает, что меня все устраивает. Посмотри: никто из настоящих диссидентов, уезжавших громко, со скандалом, не отрывается от претензий к нынешней власти. Андрей Синявский. Глубоко чтимый мною Максимов. Очень талантливый человек Войнович. Замечательный писатель Лимонов.

— Как вас все-таки угораздило тогда дать интервью «Правде»?

— Я никогда не боялся печататься там, где в данный момент печататься не принято. Тогда этого больше нигде не печатали. Я в нескольких неопубликованных интервью сказал, что интеллигенция наша — дерьмо. Что она кинулась подлизывать власть. Что выстрелы по Белому дому прозвучали на самом деле из Дома кино (а эти выстрелы

Знаешь, из-за чего Высоцкий однажды записал? Он, оказывается, прозу Золотухина прочел.

бывает, — чудовищны: сегодня он любимец страны, завтра — черная дыра. Возьми любого, любую: Гулая, Белов, Извицкая, ее вдовец Бредун, Александр Михайлов — не нынешний, старый... Не будь профессия трагична, с чего бы они спивались?

— Ну, вас-то эта чаша миновала...

— Ты просто не знаешь, я очень много пил.

История от Филатова № 1

— Замечательно пил Евстигнеев. Я обожал его — вот был актер безоговорочно великий, я страшно робел с ними со всеми, с зубрами, играть у Юрского в «Игроках». Я его позвал на «Сукиных детей». А там у меня ассистентом была чудная женщина, влюбленная в профессию и в актеров. Все коньячком их поила. Вижу

меня потрясли — я не представлял, что такое может быть. Просто не понимал этого. После октября девяносто третьего Чечня воспринимается уже как естественное продолжение).

— Не согласен, но об этом слишком много переговорено. Те танки меня защищали, я должен делить ответственность.

— От кого они тебя защищали, Дима? От кого?! Я же был в «Останкино» третьего числа, я программу там монтировал! Выхожу вниз — там безоружная толпа! Безоружная-я. И огромное количество зевак. И провокатор, настоящий Гапон — Макашов, который бегает и кричит: сейчас мы раздадим оружие!

— После ваших обвинений в адрес интеллигенции, после интервью «Правде» — вас не стали демонстративно бойкотировать?

— Нет, ничего такого. Только демонстративно приветствовать — с той стороны: книжки свои стали присылать, они же все там книжки понаписали... Лукьянов книжку своих стихов прислал. Осенев тоже есть.

— Чудовищные стихи! После них сочинять не хочется...

— Ничего, пусть тешится, он старенький.

— Кстати, об этом. Вас не угнетает, что вы де?

— Ты что! Оляка такая замечательная! И потом — мне пора, пятьдесят в этом году... Укатали Сивку крутые горки.

— Будет вам.

— Я серьезно. Последние два года веду растительное существование. Мыслящий тростник. Читать мне трудно. Ты помнишь, какая у меня была пулеметная речь? После инсульта я половину букв не выговариваю.

— Я вас не воспринимаю как больного. И потом, сейчас-то вроде самое опасное позади?

— Я действительно столько раз умирал за это время, что сейчас особого страха не чувствую. Это когда я в первый раз попал в реанимацию — так испугался самого слова! «Реанимация» — это же все, это конец! Оказывается, ничего, побывал там еще несколько раз и стал воспринимать довольно обыденно...

— Вы боитесь врачей?

— Побойваюсь. Вообще я им благодарен — жить так, как они живут, и еще что-то делать...

— Вам, говорят, предстоит операция?

— Да, почку надо менять. Я сейчас на диализе, это довольно противно — через день из меня в течение трех часов выкачивают всю кровь, чистят и закачивают обратно. Почки не справляются. Можно жить так всю жизнь, но — а если вдруг в городе смута? Не доехать до больницы, и я не жилец. Так что почку ставить придется. А она, скорее всего, будет от покойника. Что тоже противно.

— Но программу вы делать продолжаете?

— Да, только монтирую сейчас уже не сам. Дома обговариваю монтаж с режиссером. А вести буду, конечно, хотя сниматься мне трудно.

— Мне всегда импонировала в вашей натуре некая умеренная, но отчетливая хищность, она во всех героях торчит, но больше всего в этом убийце, в «Грачах»...

— Я думаю, это не мое. Это подсмотренное. Я, ты знаешь, вырос в Ашхабаде, — теплый край, туда регулярно стекалось бандитье, своей шпаны тоже хватает, и я их наблюдал достаточно. Они самые угрожающие вещи говорили таким ленивым южным тоном, — без единого резкого звука, без «р», «д», «г», на сплошном «ш» и «щ», почти нежно: «Ты шо! Шо ты тя-янешь! Ты шо!» Ну, и у меня были собственные понты-припарки, чтобы отбиться...

— Вам и нос там... подплющили?

— Там. Подправили. Он такой был довольно длинный, но прямой, а стал волнистый. Я всегда мечтал Сирано сыграть. Не вышло: митал Козаков, решившийся это ставить, уехал.

— Вы не сочувствуете уехавшему Козакову?

— Он не хочет, чтобы ему сочувствовали.

— И все-таки?

— Ну, видишь ли... Вот мы недавно были у него в Израиле. Он нам показал телефильм о нем, снятый там: сначала он репетирует Тригорина. И с усилием произносит горланные, незнакомые слова: какие-то тха... улля... А встык — он читает медлительным, упителным голосом: «Я вас любил... любовь еще... быть может...» А, что там...

— Вас стали бурно звать в кино после «Экипажа». Вы пересматривали картину в послевыборную бурную ночь?

— Ага, пересматривал... Ничего картина, легкая. На мизерные деньги сняли почти американское кино. Как если бы коми-пермяцкая или чечено-ингушская студия задумала снимать на уровне «Мосфильма» — такое примерно было соотношение бюджетов... Драматургия крепкая — Дунский и Фрид большие молодцы. И Сашка Митта молодец, хотя мы на съемках доходили до полудраки. Я не знал, что до меня он на эту роль брал Даля и с ним рассорился.

— А за дальнейшей судьбой Саши Яковлевой вы как-то следите?

— Сашку есть за что уважать. Она после «Экипажа» играла в «Парашиютистах» — и прыгала только сама. Это было ее условие. Вот и вся ее жизнь — цепь таких прыжков: только ее стали звать как Яковлеву — она берет фамилию Аасмяэ. Потом прыгнула в вице-

Последние два года веду растительное существование. Мыслящий тростник.

мэры Калининграда. Потом — в кинофестиваль. Интересный человек Саша Яковлева.

— Приятно было с ней... в этих-то сценах сниматься?

— О, у меня с этими сценами вообще замечательно!

История от Филатова № 2

— После «Экипажа» позвали меня на студию Довженко играть в «Ярославе Мудром». Крошечная роль, один съемочный день, — на большее время я не мог уехать из Москвы, только что умер Высоцкий, мы репетировали спектакль его памяти... Роль в «Ярославе» у меня такая: я сначала предал наших половцам, потом раскаялся и стал этих половцев рубить. Значит, эпизод: я иду по половецкому лагерю, там чеченцы в роли половцев веселятся, пьют кумыс и вообще разномобразно глумятся над русским народом. Я иду и рассказываю. Режиссер, ни о чем меня не предупредив, кричит: дави слезу! Слезу дави! Я чисто механически дакнул, это профессия, но разлился жуточно... «Снято!» А дальше вообще идет не пойми что: надо снимать глумление над русским народом, половцы ведут голых полонянок, а девочки, которых привезли на съемки, отказываются раздеваться! А у меня один день, я в кольчуге, в этом... в шеломе... упарился — жусть! Второй режиссер улаживает девочек — тщетно: послан. Они закрылись в автобусе и ни гу-гу. Откомандировывают меня. Я, как был, в шеломе, подхожу: девочки, кто старшая? Старшая, надменно: что вы хотите? Я объясняю ситуацию: один день, в Москве спектакль... Понемногу уговорил: стали выходить ручейком, потом кучками, согласились раздеваться, под конец вошли во вкус. Я, уже к тому времени благополучно зарубленный (все не мог нормально упустить с лошади — цеплялся за стремя), со страшным облегчением снимаю шелом и сажусь в теньке. Вижу — одна подходит, спереди кое-как задрапировавшись розожкой: дайте автограф! Я что-то написал — «На добрую память о совместной работе»... Она удаляется, небрежно покачивая попой. Половцы среди всего этого качания с трудом удерживаются на лошади. Такого количества поп еще не знал советский экран. Режиссер кричит: мы с этим фильмом потрясем Москву! Тарковский в гробу перевернется! — причем Тарковский еще жив. Привозят картину в Москву,

показывают начальству. Все голые сцены, все насилие — режут под корень! Зря я старался...

— У вас никогда не было комплекса перед Ниной? Она — звезда Таганки, Маргарита, тоже, кстати, первая голая спина на советской сцене, — а у вас больших театральных ролей десятка не наберется.

— Надо отдать должное Любимову: он Нину брал почти во все значительные спектакли, будучи с ней в очень плохих отношениях. Я полагаю, он просто хотел продемонстрировать, какие женщины есть на Таганке... Что до комплексов... (ШАЦКАЯ, от плиты: «Я сроду звездой не была!») Да, тут был скорее другой комплекс. Она замужем, я женат. Мы год честно держались, только здоровались. Потом все оказалось сильнее нас (ШАЦКАЯ, разливая чай: «Была стр-расть! Чтобы я, романтическая девушка, завела кого-то? Нет, это была страшная история! Мистическая!»)

— А перед пасынком у вас не было какого-то... страха обидеть, что ли? Вы его, вероятно, очень мягко воспитывали?

— Как же! Денис был тогда во втором классе. Глиста в корсете. Я тут же ему турник в комнате повесил, пока не отработает комплекс упреждений, из дома не выпускал! Я так его воспитывал — ого! Всю мировую классику прочитать заставил. Он у меня весь цвет русской литературы — да что там цвет, второй, третий ряд — всех знал по имени-отчеству! Станюковича — ну кто сейчас читает Станюковича, двух рассказов бы хватило, — а он прочел полное собрание сочинений! По «Войне и миру» я его лично экзаменовал, чтобы он не пропускал французский текст!

— Что, и Чехова он читал — нелюбимого вами?

— Я у Чехова только пьесы не люблю и то признаюсь себе в этом полупешотом. Я действительно не понимаю, зачем он их писал. А Денис, конечно, прочел все — и Чехова, и Горького... у которого вообще ничего хорошего нет, кроме «Самгина».

— И что — дало плоды?

— Безусловно. Очень умный малый и нонконформист. Он священник, но из Русской православной церкви ушел в зарубежную. Служит не в храме, а в молельном доме. Пытается меня приучить к тому, чтобы я в церковь ходил постоянно... как Пушкин в зрелые годы... но я не могу.

— Вы атеист?

— Нет, конечно. Я просто человек внецерковный.

— Не хочу вам надоедать, так что дайте блин. Вы сейчас пишете стихи?

— Редко. Я пьесу в стихах сочиняю.

— Вроде «Федота»?

— Нет, эта будет посерьезнее. «Любовь к трем апельсинам». Там же пьесы нет, только либретто...

— И много написали?

— Сейчас я где-то на середине второго действия. Хочу отдать в «Содружество», а ставить, я думаю, будет Сашка Адабашьян. В сценорафии Дезика Боровского.

— В рифму хоть?

— «В рифму!» А ты думал? Какие еще стихи бывают?

— Белые...

— Нет, это не то.

— Вы никогда не жалеете, что не пошли в литературу?

— Надо иметь, с чем пойти.

— У вас хватает.

— Нет. Я к этому серьезно не отношусь.

— Вам можно пить?

— Пиво даже рекомендовано.

— Лентя! В общем... в общем, я вам ужасно благодарен.

— За что? Посидели, потрепались... Филатову невозможно объяснить, за что именно я ему ужасно благодарен. Мне и необязательно проговаривать это вслух. Иногда хочется человека поблагодарить за тот факт, что он живой. Не только в смысле «живой-здоровый», хотя это главное. А в смысле некоего движения и чутья.

Филатов жив, господа-товарищи! Жив и очень хорошо себя чувствует! А мы чувствуем его, что тоже важно.

Дмитрий БЫКОВ.